

БОРИС КРИГЕР



**ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ
САРТРА**

БОРИС КРИГЕР

Экзистенциализм
Сартра



© 2025 Boris Kriger

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from both the copyright owner and the publisher.

Requests for permission to make copies of any part of this work should be e-mailed to kriegerbruce@gmail.com

Published in Canada by Altaspera Publishing & Literary Agency Inc.

Экзистенциализм Сартра

Книга посвящена феномену отсроченного существования — устойчивому состоянию современного субъекта, живущего в режиме постоянного «ещё не время», «когда-нибудь потом». Через призму философии Сартра анализируются изменения в понимании свободы, действия и идентичности в условиях современного социума.

Отсроченное существование предстает не как результат свободного выбора, а как социально сформированная установка, при которой свобода постоянно заявляется, но редко находит воплощение в действии.

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ САРТРА

Как странно и вместе с тем как неизбежно, что в этой угрюмой череде дней, в бесконечном шествии вопросов, на которые не отыщется окончательного ответа, возникает нечто, подобное экзистенциализму, что-то почти болезненное в своём упорстве, но в то же время неизменно человеческое, как дыхание в полумраке, когда сердце, казалось бы, стучит только ради того, чтобы удостовериться в своём существовании. Не от праздности рождается такая мысль, и не от желания понять мир, как схему или таблицу, но от непереносимой тяжести бытия, которую уже невозможно держать в себе, от тревожной сосредоточенности, с какой человек, не обременённый ни верой, ни иллюзиями, начинает копаться в самом себе, отыскивая в этом мраке хотя бы слабый отблеск смысла, не ради спасения, но скорее от отчаянного стремления не исчезнуть зря.

Когда каждое мгновение теряет своё прежнее значение, когда слова, прежде казавшиеся ясными, вдруг становятся пустыми оболочками, едва ли не насмешкой над прежними убеждениями, тогда и возникает странное чувство, словно кто-то шепчет на ухо, что нет у мира никакой ясной цели, что никакой внешний порядок не оправдывает страдания, и тогда человек, оставшись один, без подпорок, без обещаний, без наград, начинает взглядываться в себя с той дикой решимостью, которая сродни безумию, но в то же время содержит в себе зачаток нового понимания — не сладостного, не утешительного, но подлинного.

И вот уже сама мысль, что свобода дана не как дар, но как тяжкий крест, не уходит, а напротив, укореняется, обретает форму, превращается в образ. И тогда можно ли

не сказать — сколь хорошо, что есть то, что позволяет взглянуть в эту пропасть без ужаса, а скорее с некой хриплой, почти недоверчивой благодарностью.

В напряжённом дыхании того, что именуется экзистенциализмом Сартра, слышится не философский диспут в академическом кругу, но скорее мучительный голос одинокого сознания, брошенного в мир без оправдания, без цели, без исхода, и потому обречённого на абсолютную свободу, столь невыносимую, что порой легче отказаться от неё, чем принять. Ни Бог, ни природа, ни история не дают человеку готового смысла, не подсказывают ему, кем он должен быть, и уж тем более не гарантируют, что его поступки получат прощение или оправдание. В центре всего — существование, и только потом, уже в страдании, в поступках, в выборе, в боли и в ответственности за всё содеянное, появляется сущность, складывается в образ, в характер, в судьбу.

Не случайно в этом мрачном и вместе с тем страстном мировоззрении утверждается, что человек обречён быть свободным — не избран, не удостоен, а именно обречён, как обречён узник, которому оставлен лишь один путь — идти вперёд, несмотря на страх, несмотря на неясность, несмотря на отсутствие высших знаков. Он сам выбирает, сам определяет, сам творит свою мораль, не опираясь ни на догмы, ни на вечные законы, ибо всякое оправдание вне его — уже самообман. Даже если кто-либо будет утверждать, что поступает по велению совести или по нравственному кодексу, всё равно тем самым он сам принял этот кодекс, сам дал ему власть над собой, и потому всё ещё остаётся ответственным — и за

выбор, и за последствия.

Никакая внешняя система не освобождает от этой ответственности, никакой Бог не отменяет человеческой вины, напротив, именно в этом постоянном напряжении между возможностью и выбором, между свободой и её бременем, и возникает подлинное существование. Каждый жест, каждое слово, даже молчание, даже уход от действия — всё есть выбор, и за всё придётся отвечать. Нет невинных, ибо даже равнодушие — это уже решение, и тем самым уже признание определённого взгляда на мир.

Жизнь, по Сартру, не даёт утешения — она требует. Не просит, не умоляет, а требует решимости. И не героической, не громкой, не украшенной пафосом, но внутренней, молчаливой, жестокой решимости быть, действовать, существовать, несмотря на абсурд, несмотря на отчаяние, несмотря на то, что всякое значение — лишь плод воли.

По уже сложившейся у меня традиции, стремясь не просто изучать философа, а именно вжиться в его мысли, я перевёл и опубликовал небольшую брошюру Жана-Поля Сартра «Экзистенциализм — это гуманизм». Этот труд, несмотря на свою скромную форму, оказался насыщенным философским зарядом, вбирающим в себя суть всей экзистенциалистской позиции. Пропуская сквозь себя каждое его утверждение, я словно бы входил в интеллектуальное пространство, где человек остаётся один на один с собственной свободой, ответственностью и необходимостью выбирать.

Основная нить, пронизывающая всё сочинение, состоит в утверждении, что существование предшествует сущности. Человек, оказавшись в мире, не несёт заранее

заданной природы: он сам становится тем, кем себя делает. В этом утверждении скрыта не только метафизическая, но и глубоко этическая интенция, ведь если ничто не определяет человека заранее, то он абсолютно ответственен за каждый свой поступок. Переложив эти слова на язык внутреннего переживания, можно сказать, что не существует оправданий, нет внешнего авторитета, способного указать верный путь: каждый жест, каждое решение отзывается в общей ткани человеческого опыта как пример, который создаёт образ человека в целом.

Сартр, не прибегая к сложным конструкциям, стремится развенчать обвинения в пессимизме и нигилизме, нередко звучащие в адрес эзистенциализма. Утверждая, что человек осуждён быть свободным, он не впадает в уныние, а, напротив, призывает к мужеству. Под свободой здесь подразумевается не отвлечённая идея, а самая конкретная реальность: перед лицом обстоятельств, условий, культуры и истории человек вынужден выбирать, причём каждый его выбор — это не только определение себя, но и призыв ко всему человечеству. Через этот ракурс становится ясно, почему эзистенциализм называет себя гуманизмом: он видит в человеке проект, устремлённый за пределы себя, обращённый к миру, к другим, к будущему.

Затронута в тексте и тема субъективности, которая, по Сартру, не отрицает, а, напротив, утверждает универсальность. Субъективный выбор, совершаемый в одиночестве, обладает весом общественного примера. Делая выбор, человек всегда делает его не только за себя, но и за других — как если бы утверждал: «таков должен быть человек». И в этом возникает напряжение между

личной свободой и ответственностью перед человечеством как целым. Эта диалектика пронизывает всё рассуждение, превращая его в нечто большее, чем просто философский манифест: это живая речь, обращённая к тем, кто стремится понять, как можно жить, не прячась за доктрины и не перекладывая вину на судьбу или природу.

Переводя этот текст, я постоянно ощущал, как изнутри меняется интонация мысли. Простой и решительный тон Сартра, отказ от высокопарности, стремление говорить ясно — всё это требует от читателя, а особенно от переводчика, особой собранности. Каждая фраза, каждый поворот логики — это не только философская формула, но и вызов, направленный на то, чтобы человек перестал бояться собственной свободы.

Философская мысль Жана-Поля Сартра формировалась в переломную эпоху, когда XX век, потрясённый катастрофами, предъявил к человеческому существованию новые, мучительные требования. Вторая мировая война, крушение религиозных и нравственных устоев, утверждение индивидуализма и обострение проблемы человеческой свободы — всё это образовало фон, на котором выкристаллизовались основные положения его философии. В 1943 году появляется «Бытие и ничто» — труд, в котором отражается не только интеллектуальное напряжение времени, но и глубокое внутреннее беспокойство перед лицом бессмысленности бытия, тягостной ответственности личного выбора и отсутствия каких-либо внешних опор, способных придать смысл. В этой работе Сартр формулирует философскую антропологию,

сосредоточенную на свободе как центральной характеристике человека, представляя его как существо, неустанно выходящее за собственные пределы. Человеческое «для-себя» не обладает врождённой сущностью, оно создаёт себя заново через действие, и только в действии находит то, чем оно является.

Со временем, особенно во второй половине XX века, экзистенциализм Сартра подвергается критике со стороны новых философских направлений. Структуралисты — такие как Лакан, Альтюссер, Фуко — подвергли сомнению представление об автономном субъекте, считая его иллюзией, скрывающей более глубокие механизмы власти, языка и бессознательного. Однако ближе к началу XXI столетия внимание к экзистенциальным вопросам начинает возрастать. Ощущение утраты устойчивого смысла, радикальные перемены в трудовой сфере и давление гипермодерна приводят к тому, что размышления о свободе, выборе и самотождественности вновь оказываются в центре культурной повестки, хотя и в ином, более тревожном ракурсе.

В этой связи обращение к понятию «отложенного существования» приобретает особую значимость. Возникает необходимость осмыслить его в диалоге с сартровской концепцией. Современное общество, перенасыщенное возможностями, раздробленное в вопросах идентичности и живущее постоянным ожиданием будущего, формирует нового субъекта. Поздний капитализм, описанный мыслителями вроде Хартмута Розы или Зигмунта Баумана, порождает человека, находящегося в беспрерывном движении, но редко укоренённого в реальном, проживаемом проекте.

Ускорение времени, навязчивая идея постоянного самосовершенствования и превращение ожидания в образ жизни глубоко трансформируют само устройство человеческого существования.

Именно в этой перспективе обращение к Сартру становится не актом исторической реконструкции, а способом переосмыслиния настоящего. Его идеи, некогда считавшиеся устаревшими, вновь обретают остроту. Свобода, которую когда-то представляли как источник силы и действия, теперь отдаляется, превращаясь в неуловимый горизонт. Жизненный проект, вместо того чтобы становиться реализованной формой бытия, уходит в сферу абстрактных планов и гипотетических конструкций. Понятие дурной веры, которое у Сартра описывало самообман индивида, теперь укореняется в социально одобряемых формах существования — таких, как хроническое откладывание жизни, перенос смысла на неопределённое потом и бегство от подлинного выбора в пользу бесконечных возможностей, не воплощённых в реальности.

В сартровской перспективе основой для размышлений становятся три ключевых понятия: экзистенциальный проект, дурная вера и свобода. Проект, согласно Сартру, — это способ, с помощью которого человек преодолевает текущее состояние ради того, чем он стремится стать. Предопределённой сущности не существует, есть лишь становление, основанное на выборе. Эта способность к устремлению вперёд и формирует человеческую свободу как фундаментальное, онтологическое качество. Быть свободным — не значит обладать привилегией, а означает неизбежно

существовать в режиме выбора. Отказ от свободы, выраженный в стремлении закрепиться в уже заданной роли, будь то социальная функция или личностный ярлык, становится проявлением дурной веры. В этом состоянии человек либо сводит себя к шаблонной идентичности, прячась за формулой «я — это моя профессия», либо отрицает собственную способность к действию, передоверяя свою судьбу внешним обстоятельствам.

К этому философскому каркасу добавляются наблюдения из области современной социальной критики, где акценты смещаются к анализу времени, структуры общества и эмоциональной регуляции. Хартмут Роза, исследуя феномен социальной акселерации, указывает на то, как ускорение всех сфер жизни создаёт искажённое восприятие времени. Индивид оказывается в постоянной гонке за будущим, которое неизменно ускользает, разрушая саму возможность укоренённости в настоящем. Подобное состояние обостряет внутреннюю разобщённость, формируя патологический ритм существования. Зигмунт Бауман, описывая явление «жидкой современности», отмечает, что в условиях текучих социальных связей обязательства становятся хрупкими, идентичности — неустойчивыми, а проекты — подверженными непрерывной пересборке. В такой действительности свобода утрачивает свою конкретность: она не отвергается сознательно, но оказывается отодвинутой, откладываемой на потом, причём не вследствие личной слабости, а из-за самих правил общественной игры, поддерживающих это состояние неопределённости.

Дополняя картину, исследования Арли Рассел Хохшильд

раскрывают, как в неолиберальных обществах управлению подлежат не только действия, но и чувства. Эмоциональная жизнь оказывается рационализированной, подчинённой требованиям эффективности. В рамках такой системы человек вынужден проектировать себя в будущее, в котором он должен соответствовать ожиданиям продуктивности, но ему почти не предоставляется пространство для того, чтобы реализовать этот проект в настоящем, распадающемся на фрагменты. Настоящее становится лишь подготовкой, но не временем осуществления.

Соединяя эти теоретические наблюдения, можно выдвинуть предположение, что современное состояние отложенного существования — не личная слабость или случайное отклонение, а структурированная социальная форма дурной веры. В ней человек активно участвует в собственном отсрочивании, добровольно принимая правила игры, в которых жизнь постоянно откладывается во имя гипотетического будущего, идеализированного, но никогда не наступающего.

Основной замысел этой книги заключается в признании того, что в условиях современности свобода, как её понимал Сартр, претерпевает радикальное переосмысление. Понятие «отложенного существования» не сводится к индивидуальной нерешительности или слабости воли; оно выражает более глубокое изменение в самой структуре субъективности и в отношении человека ко времени. Это состояние не является временной паузой, а приобретает форму устойчивого способа бытия, в котором проект перестаёт быть актом, а превращается в образ —

недостижимый, непрожитый, но непрестанно идеализируемый.

В «Бытии и ничто» Сартр формулирует фундаментальную природу человека как постоянного становления. Он — существо, которое не совпадает с тем, что есть, и является тем, чем ещё не стало. Проект в таком понимании — это не просто замысел, а непрерывное преодоление наличного ради избранного. Однако в современном контексте данная направленность теряет свою действенность: субъект по-прежнему осознаёт себя как потенциал, но не переходит к реализации. Человек всё чаще пребывает в состоянии бесконечного ожидания: планируя, прогнозируя, выстраивая о себе повествование, он откладывает начало действия, подменяя живое воплощение в мире абстрактной подготовкой. Свобода, которая должна была проявляться в поступке, растворяется в словах вроде «позже», «когда будет возможность», «после того, как». И если у Сартра свобода была действием в настоящем, то сегодня она остаётся в статусе гипотезы, не переходящей в конкретику.

При этом дурная вера — уклонение от ответственности быть свободным — в новых условиях приобретает институционализированный характер. Если раньше она выражалась в отдельных жестах самообмана, когда человек ограничивал себя рамками ролей и масок, то теперь она становится системной нормой. Современное общество встроило ожидание изменений и трансформаций в свои собственные механизмы: карьерный рост, личностное развитие, поиск гармонии — всё это представляется как достижимое, но при этом постоянно откладывается. Индустрии

самосовершенствования, программы мотивации социальной регуляции предлагают бесконечные сценарии будущего «лучшего я», не давая пространства для того, чтобы быть этим «я» здесь и сейчас. Человек вовлекается в непрерывный цикл подготовки, где каждый новый этап требует следующего шага, всё дальше уводящего от точки реализации.

Параллельно с этим происходит искажение самого восприятия времени. Исследования Хартмута Розы демонстрируют, что ускорение социальной жизни не приводит к усилению переживания настоящего, а, напротив, вызывает паралич действия. Постоянное давление темпа, избыток информации, ощущение нескончаемых требований не дают возможности сосредоточиться на моменте, превратив его в лишь промежуточное звено. Человек оказывается в ловушке между слишком насыщенным будущим и обесцененным настоящим, которое теряет свою ценность как пространство поступка. Подобно сартровскому субъекту, избегающему себя, индивид сегодняшнего дня живёт в абстрактной временной конструкции, где присутствие утрачивает своё значение, а выбор откладывается в пользу иллюзии полной готовности, никогда не наступающей.

Это приводит к необходимости пересмотра самого основания экзистенциализма. Возникает вопрос о его актуальности в условиях неолиберальной эпохи, когда избыточная свобода декларируется, но при этом лишается условий для реального осуществления. Сартровская модель предполагала, что человек свободен, потому что поставлен в конкретную ситуацию,

в которой он может действовать. Но сегодняшняя ситуация — это скорее их избыток: ситуации множатся, дробятся, лишаются стабильности. Человек может всё — но не знает, с чего начать и где ему позволено начать. В этом смысле дурная вера принимает иную форму: она уже не просто бегство от свободы, а результат избыточной формальной свободы, за которой не стоит практической возможности реализации. Индивид юридически свободен, но структурно лишен тех опор, которые позволяли бы этой свободе приобрести плоть и голос.

Понятие аутентичности, традиционно связанное с экзистенциальной идеей верности себе, может быть неожиданно и плодотворно переосмыслено через призму нейропластичности — той самой способности мозга изменяться под воздействием опыта, обучения и осознанного усилия. Если раньше подлинность часто трактовалась как возвращение к некоему изначальному «я», к скрытой, подлинной сущности, которая должна быть раскрыта, то теперь становится возможным взглянуть на неё как на результат постоянного становления, направленного изнутри. Уже не поиск глубинного «я», но творение себя — это и есть путь к подлинности.

Нейропластичность указывает на то, что человек не только подвержен влиянию среды, но и способен переосмыслять, перерабатывать и заново выстраивать собственные внутренние структуры, если только

осознаёт эту возможность. Тогда аутентичность перестаёт быть чем-то данным заранее — она становится задачей, процессом, внутренним усилием. Подлинность больше не коренится в неизменной сущности, которую нужно сохранить, а возникает в самой способности изменяться, оставаясь при этом в контакте с глубинным импульсом стать тем, кем ещё не являешься, но кем можешь стать.

В этой перспективе свобода уже не воспринимается как абсолютный разрыв с прошлым или отрицание обстоятельств. Напротив, она становится способностью переработать накопленный опыт, включая биографические травмы, чужие голоса, неосознанные привычки и даже биохимические склонности, превращая их в материал для нового образа себя. Нейропластичность — это не просто биологический факт, но и метафора внутренней работы, указывающая на то, что человек может становиться собой, изменяя саму структуру того, как он воспринимает и чувствует. В этом свете подлинность оказывается не состоянием, а движением, не открытием, а созданием.

Аутентичность, понятая как самопреобразование, не отменяет внутренней верности себе, а наоборот, усиливает её. Ведь именно в усилии изменить себя по собственному замыслу, не подчиняясь внешнему диктату, человек выражает наибольшую степень личностной правды. Он не отказывается от себя, стремясь стать другим, он стремится к той версии себя, которая ещё не осуществилась, но уже ощущается как возможность. Здесь исчезает противопоставление между природным и культурным, между данным и выбранным: сам выбор, направленный на изменение, становится

актом признания своей глубинной способности быть другим, не переставая быть собой.

Так, соединяя экзистенциальную мысль с данными современной науки, возникает новая фигура подлинности — не как возвращение, но как путь, не как нахождение, а как созидание. В ней встречаются осознанность, усилие, память и проект. И в этой встрече человек открывает, что стать собой — значит измениться, сохранив направление, вырасти, не предав основы, перестроить себя, не утратив внутренней оси.

Классический экзистенциализм, сосредоточенный на сознательном выборе, ответственности и акте самоопределения, нередко обходил стороной те области психической жизни, которые ускользают от прямого контроля. Бессознательное в его многообразных проявлениях — от вытесненных воспоминаний до автоматических поведенческих паттернов — оказывалось за пределами философского внимания, словно бы несущественным для существования в экзистенциальном смысле. Однако по мере углубления психологического знания становится ясно, что подлинное самопознание невозможно без осмыслиения тех глубин, где сознание уже не господствует, а лишь реагирует на тайные внутренние процессы.

Интеграция экзистенциализма с психоанализом позволяет взглянуть на свободу не как на простую способность действовать, но как на трудное и многослойное усилие — сопротивляться внутреннему сценарию, унаследованному от травмы, стыда, страха или забытого прошлого. Добавляя к этому данные когнитивной науки, становится возможно увидеть, как

схемы мышления, нейронные пути, автоматизмы восприятия влияют на то, какие выборы совершаются. Тогда экзистенциальная ответственность обогащается новым смыслом: быть свободным — значит не просто выбирать, а распознавать, из чего именно складывается выбор, откуда исходит побуждение, каким образом переживание мира формируется через скрытые фильтры.

С этим внутренним напряжением перекликается новая форма тревоги, рождающаяся в цифровую эпоху. Если экзистенциальная тревога прежде выражалась в осознании своей конечности, одиночества и ответственности, то теперь она находит новое выражение — в страхе потерять контроль над собственным образом в виртуальной среде. В цифровом пространстве человек сталкивается с парадоксом: создавая и транслируя образы себя, он теряет право на их автономию. Публикуемые мысли, фотографии, фрагменты жизни вырываются из личного опыта и начинают жить в чужих алгоритмах, интерпретациях, зеркалах. Это новая форма отчуждения — когда не просто тело или труд, но само представление о себе становится объектом внешнего обращения.

Тревога смещается: не «кем я являюсь» в метафизическом смысле, а «как я представлен» — и насколько эта представленность отражает или искажает внутреннюю правду. В мире, где цифровая реальность проникает в повседневность, а граница между публичным и личным размыта, экзистенциальное напряжение перемещается в новые зоны: лайк как мера значимости, репост как форма признания, молчание как форма отвержения. Всё это создает новый ландшафт внутренней жизни, в котором человек вынужден снова

задаваться вопросом — насколько он свободен, если образ себя уже стал внешним, уже не принадлежит ему.

Именно здесь необходимость переосмыслиения экзистенциализма становится особенно очевидной. Без включения бессознательного, без внимания к психической архитектуре, без понимания цифровых механизмов идентичности философия свободы рискует остаться абстракцией. Только признав сложность внутренних и внешних обусловленностей, можно попытаться вернуть человеку чувство подлинного существования — не в отрыве от новых форм жизни, а внутри них, через напряжённый, но возможный процесс узнавания себя в мире, который постоянно предлагает готовые маски.

Технологическая среда, радикально трансформировавшая способы восприятия, коммуникации и самоконструирования, предъявляет к мышлению новые требования, выходящие за рамки классических философских парадигм. Экзистенциализм, рождённый в эпоху бумажной книги, личного присутствия и непосредственного выбора, оказался перед необходимостью выйти за пределы прежних форматов и заговорить на языке, способном охватить реальность, где Я уже не существует исключительно в телесном или социальном измерении. Возникает настоятельная потребность в разработке постцифрового экзистенциализма — такого способа мышления о человеке, который учитывает присутствие ИИ, алгоритмов, цифровых двойников, метавселенных и прочих несводимых к классическому опыту явлений.

Там, где прежде человек определялся через действие в

реальном мире, теперь само действие может происходить в виртуальной среде, где различие между возможным и действительным стирается. ИИ способен подражать речевым актам, генерировать тексты, выстраивать логические цепочки, но именно в этом подражании возникает новый вопрос — если машина может имитировать человеческое, где проходит граница между подлинным существованием и его цифровой тенью? Возникает необходимость переосмыслить само понятие присутствия: быть — это уже не только находиться в пространстве и времени, но и проявляться в алгоритмической реальности, где Я может существовать параллельно с собой, в бесконечно модифицируемых версиях, фрагментах, цифровых следах.

Цифровое Я стало неотъемлемой частью экзистенции, и потому подлежит феноменологическому описанию. Не в терминах внешних функций, а как поле переживания, как пространство, где человек сталкивается с собой в новом измерении. «Дигитальная феноменология» становится попыткой описать, что значит быть в цифровом: что чувствуется, когда аватар становится представлением личности, когда чат-бот вступает в диалог от лица человека, когда алгоритм предсказывает желания ещё до того, как они осознаны. Этот тип опыта нельзя игнорировать — он составляет новую онтологическую реальность, в которой личность одновременно распадается и собирается, теряется в симуляциях и вновь обнаруживает себя в способности к рефлексии.

Постцифровой экзистенциализм не отрицает технологий, не противопоставляет её человеческому, но

стремится понять, как бытие изменяется, проходя сквозь фильтры алгоритмов. Какова цена выбора, когда сами предпочтения подсказываются системой? Что значит свобода, если цифровая среда уже расставила рамки поведения? Здесь вновь возникает тревога, но тревога иного рода: не перед смертью, а перед утратой внутренней оси в мире, где ориентация осуществляется по невидимым структурам. Именно эта тревога требует нового экзистенциального языка, в котором сохраняется глубина человеческого самовопрошания, но добавляется измерение технологического участия в судьбе Я.

Такая философия — не просто теоретическая реконструкция, а живая необходимость. Она способна вернуть субъекту ощущение собственного бытия, не отказываясь от инструментов, но переопределяя их смысл. Осмысливая присутствие в метавселенных, взаимодействие с ИИ, цифровую эмпатию и отчуждение, она формирует новую антропологию — не цифрового объекта, а мыслящего, чувствующего существа, переживающего себя одновременно в онлайне и вне его, в сети и вне её, в данных и в молчании, которое ещё остаётся нецифровым.

Экзистенциализм, в своём классическом обличье, неизменно восходил к фигуре одиночки — сознания, брошенного в мир, вынужденного нести всю тяжесть собственного существования без внешней опоры. В образах Кафки, Камю, Сартра раз за разом проявлялось это напряжённое и почти героическое одиночество, где человек сам, в безмолвии бытия, определяет смысл, принимает решения и отвечает за них перед лицом абсурда. Это был философский жест сопротивления

миру, лишённому оправданий, жест, который утверждал: даже в полном отсутствии смысла человек остаётся существом, способным на выбор.

Однако в условиях XXI века, в мире пересечённых биографий, климатических угроз, глобальной нестабильности и повсеместной цифровой взаимосвязанности, становится ясно, что одиночество — не единственная возможная форма существования. Вызревшая из новых исторических условий идея экзистенциализма взаимозависимости предлагает иной взгляд: не отменяя свободы, она раскрывает её в направлении связи. Человек больше не может мыслиться как замкнутый центр, действующий в вакууме; он — существо, вплетённое в сеть отношений, чья свобода немыслима вне сопричастности, заботы, эмпатии. Здесь акцент смещается с автономии к ответственности, не только за самого себя, но и за другого, с кем это бытие разделяется.

Свобода в этом ключе перестаёт быть героическим бременем, тяжёлым грузом, который несётся в одиночестве. Она становится возможностью быть внимательным, откликаться, поддерживать. Это не снижение планки человеческого достоинства, а, напротив, его углубление: свобода проявляется не в изоляции, а в способности быть с другим, не поглощая и не растворяясь. Сопричастность оказывается не ограничением, а формой расширения экзистенции. Там, где классический герой метафизического выбора стоял один перед бездной, современное сознание может склониться рядом с другим, переживая эту бездну как общее пространство, где важен не только вопрос «кем быть?», но и «с кем быть?».

На этом фоне рождается то, что можно назвать экзистенциализмом эмпатии. Он не противостоит Камю напрямую, но открывает другой горизонт. Стоическое молчание Мерсо, его отчуждённое спокойствие перед лицом смерти, сегодня звучит как метафора внутренней изоляции, которую необходимо преодолеть. Не ради утешения, но ради возможности быть с другим как с тайной, не как с угрозой. Эмпатия в этой системе координат — не просто эмоция, не соучастие в страдании, а способ видения: признание чужой уникальности как равноправного центра опыта, как ответа на вызов бытия.

Такой подход позволяет пересобрать само понятие субъекта: он уже не самотождественен, не окончен, не герметичен. Он открыт, уязвим, изменчив, но именно в этой открытости обретает силу. Экзистенциальная философия, обращаясь к эмпатии, делает шаг от трагической изоляции к совместному бытию, не теряя своей глубины, но находя в ней новое дыхание. В условиях, где границы между людьми проходят не только по физическим линиям, но и по алгоритмам, культурам, историям, возможность слышать и быть услышанным становится не просто моральным жестом, а философским условием существования как такового.

В этом свете экзистенциализм будущего — это уже не философия одинокой силы, а мышление, способное удерживать различие, не разрушая связи, признавать свободу без отказа от взаимности, быть с другими не по обязанности, а по глубинной необходимости быть собой среди других.

Свобода, возведённая в абсолют, лишённая связи с

другим, неизбежно скатывается в изоляцию, где выбор, не встречающий отклика, утрачивает живую плоть. В классическом экзистенциализме человек осознаёт свою обречённость быть свободным, но если эта свобода не переплетается с любовью, если она остаётся замкнутой в себе, то становится неосуществимой на глубинном уровне. Любовь, напротив, способна вырвать сознание из замкнутости, вписать его в пространство сопричастности, но, утратив свободу, она незаметно превращается в зависимость, в стремление раствориться в другом, теряя себя. Так возникает внутреннее напряжение, где экзистенция обретает свои истинные очертания: между желанием быть собой и потребностью быть с другим.

Это напряжение нельзя разрешить раз и навсегда — оно составляет само существо человеческого бытия. Влюблённый стремится быть узнанным, понятным, принятом, но в тот же миг, когда он теряет возможность выбора, когда любовь становится диктатом, исчезает подлинное чувство, остаётся только принуждение. И напротив, та свобода, что стремится избежать любых обязательств, отказывается от глубинной близости, не даёт возможности любви вырасти. Человек оказывается в поле непрерывного движения между полюсами — он стремится быть свободным и в то же время ищет тех, чьё присутствие придаёт свободе смысл.

Экзистенция не мыслится вне другого, но другой никогда не даётся полностью, он остаётся тайной, которая не может быть подчинена, как не может быть предсказана. Любить — значит вступать в отношение, где свобода обостряется, потому что каждый жест требует взвешенности: нельзя использовать, нельзя

расторгнуться, нельзя овладеть. Любовь становится самым сложным полем экзистенциального выбора, потому что в ней каждый поступок обнажает личность до самой сути. Отношения с другим — не комфортная гавань, не успокоение, а постоянный вызов: как остаться собой, не теряя связи, и как остаться с другим, не переставая быть собой.

В этом поле напряжения рождаются главные переживания — ревность как страх утраты связи, одиночество как цена сохранённой свободы, зависимость как попытка заменить выбор близостью. Но именно здесь, в неустойчивом равновесии, в этой зыбкой границе между отстранённостью и слиянием, человек чувствует себя живым. Он не просто существует, он разворачивается в отношениях, которые требуют не жертвы, а зрелости, не отказа от себя, но присутствия в другом без исчезновения. И любовь здесь — не оправдание свободы, но её проверка, не побег от выбора, а форма его предельной реализации.

Свобода и любовь не противостоят друг другу, они нуждаются друг в друге, как дыхание нуждается в ритме. Без любви свобода становится пустым актом, без свободы любовь теряет достоинство. Их соединение, всегда временное, всегда под угрозой распада, и есть то пространство, где экзистенция обнаруживает свой подлинный масштаб — не в героизме одиночества и не в утешении близости, а в неустанной попытке соединить ответственность за себя с вниманием к другому.

Современный экзистенциализм, если он стремится остаться живым мышлением, способным откликаться на вызовы времени, уже не может обходить стороной

экономическую сферу, как нечто внешнее, не подлежащее философскому осмыслинию. Напротив, именно экономика в её рыночной, неолиберальной, а ныне всё чаще — алгоритмической форме, требует критического рассмотрения как мощнейшего антиэкзистенциального механизма. Этот механизм тонко и методично вытесняет из повседневного бытия само переживание свободы, подменяя выбором среди заранее заданных опций, навязывая стандартные сценарии желания, успеха, идентичности.

Подлинный выбор, о котором размышляли Сартр или Ясперс, исходил из пустоты — из внутреннего ощущения, что всё возможно и ничего не предопределено. Рыночная же логика, напротив, создаёт иллюзию свободы в условиях, где каждое решение уже запрограммировано культурной матрицей потребления. Человеку предлагают не жить, а конструировать «жизненный стиль», не быть, а приобретать принадлежность. От одежды до убеждений, от музыкальных предпочтений до политической позиции — всё оказывается вовлечённым в цикл производства и продажи. При этом каждая опция сопровождается призрачным ощущением самостоятельности, хотя в действительности свобода превращена в выбор между витринами, чья архитектура давно уже выстроена без участия самого субъекта.

Особую форму подавления свободы представляет алгоритмическое планирование, действующее не как открытая сила, а как молчаливое направление — незаметное, но точное. Рекомендательные системы, поведенческий анализ, таргетированная реклама — всё это создает среду, где спонтанность оказывается

вытесненной, а желания — предвосхищёнными. И если прежде экзистенциальная тревога возникала перед бездной неосознанного будущего, то теперь тревога исходит из слишком плотного настоящего, в котором каждый следующий шаг будто бы уже просчитан, а пространство неопределённости — сведено к минимуму. Это и есть новый детерминизм — не метафизический, не теологический, но цифровой, управляемый данными и предсказаниями.

Такое планирование лишает человека не только внутренней свободы, но и ощущения себя как непредсказуемого существа. Оно разрушает удивление, спонтанность, отклонение от нормы. Человек всё чаще переживает не свободу, а вину за несовпадение с логикой продуктивности. И в этом незаметном смещении центр тяжести перемещается от экзистенции к управлению. Быть — значит быть просчитанным, быть вовлечённым в статистику, быть сравнимым и предсказуемым. Там, где когда-то находилась зона выбора, теперь разрастается пространство вероятностей, где субъект скорее подтверждает, чем определяет.

Экзистенциализм, если он остаётся мыслью о человеке как существе способном к самоопределению, обязан встать в критическое отношение к этим процессам. Он не может больше опираться только на внутренний акт свободы — он должен вскрывать те структуры, которые формируют контуры возможного. И экономическая система в её нынешней конфигурации становится одной из ключевых таких структур: она моделирует желания, управляет вниманием, регулирует темп жизни. Именно здесь, в скрытом взаимодействии между свободой как философским понятием и потреблением как социальной

практикой, возникает новая зона напряжения, где отстоять экзистенцию — значит вернуть себе право на подлинный выбор, даже если он идёт вразрез с логикой эффективности.

Современное существование всё чаще протекает не как целостный поток переживаний, а как фрагментированная череда пауз, прерываний, сигналов и ожиданий, в которых бытие откладывается, словно его можно пережить позже — после ответа, после встречи, после важного письма или очередного обновления. Эта особая форма жизни — «отложенная экзистенция» — становится новой нормой, скрытой под поверхностью кажущейся активности. Человек словно бы живёт, но одновременно всё откладывает: внутреннее внимание, подлинную вовлечённость, углублённое присутствие.

Уведомления, непрерывно возникающие в цифровом пространстве, функционируют как сигналы тревоги, не позволяющие опыту сложиться в завершённую форму. Каждое сообщение прерывает мысль, каждое напоминание врывается в течение дня, нарушая внутреннюю ритмику. Бытие становится пунктирным, состоящим не из прожитых мгновений, а из реакций на импульсы, заданные извне. Эта постоянная готовность откликнуться создаёт иллюзию включённости, хотя в действительности сознание оказывается захваченным не настоящим, а ожиданием будущего — следующего сигнала, следующего действия, следующей задачи.

Экзистенция в такой среде не отменяется, но теряет плотность, становится зыбкой. Человек живёт «на подступах к себе», всё время оттягивая момент подлинного присутствия. Внимание становится

поверхностным, внутренний монолог — прерванным, а тишина — невозможной. В условиях такой рассеянности становится трудно не только чувствовать, но и думать в подлинном смысле слова, потому что мышление требует остановки, паузы, в которой возможна рефлексия. Отложенная экзистенция — это жизнь, в которой всё значительное назначено на потом: выбор, осознание, даже боль.

Но тревожность, которую несут эти постоянные цифровые прерывания, не только разрушает внутреннюю собранность — она формирует новый тип онтологической усталости. Не от труда, не от конфликта, а от непрерывного ожидания. Это ожидание нельзя завершить, потому что каждый отклик запускает следующую волну. Появляется скрытое ощущение, что быть собой — значит «встать в очередь», переждать внешнюю суету, прежде чем приступить к настоящему. Однако настоящее не наступает, потому что поток сигналов не прекращается. Бытие превращается в бесконечную прокрастинацию, где свобода становится невыносимой именно потому, что всё время откладывается её реализация.

В такой структуре современного опыта возникает новое экзистенциальное напряжение: как быть собой в мире, где само ощущение момента захвачено внешним темпом? Как вернуть себе не просто выбор, но саму возможность присутствовать, не прерываясь, не отвечая, не ожидая? И возможно ли вообще ещё молчание, в котором человек не реагирует, а слушает? Эти вопросы становятся не отвлечёнными, а предельно конкретными, потому что от ответа на них зависит не только смысл, но и структура повседневности. Быть — значит быть в себе,

а не в ожидании другого уведомления.

Язык экзистенциализма, родившийся в эпоху философских деклараций, письменных манифестов и героических жестов сознания, всё чаще теряет живую связь с опытом современности. Его категории, выстроенные на прочных основаниях логоса, стремятся к внятности и обоснованности, тогда как сама ткань жизни всё больше склоняется к размытым, текучим, нестабильным формам. Человек больше не воспринимает себя как автономного субъекта, стоящего перед бездной и делающего выбор один раз и навсегда. Он оказывается в мире, где границы размыты, идентичности многослойны, решения релятивны, а осознание приходит не как итог мышления, но как след переживания.

Именно поэтому экзистенциализм будущего всё менее может быть философией истины в традиционном смысле слова. Он перестаёт стремиться к высказыванию универсального, заменяя его погружением в конкретное, временное, телесное и противоречивое. Истина здесь уступает место внимательности, а аргумент — внутреннему сдвигу, вызванному встречей с собой, с другим, с миром. Это философия не отвлечённых структур, а обострённого присутствия; не системы, но интонации; не законченности, но процесса. Переживание становится тем, через что бытие раскрывает свою правду — не как знание, а как узнавание, не как формула, а как мгновение, задевающее за живое.

В этой изменяющейся парадигме понятие подлинности, всегда столь значимое для экзистенциальной мысли,

обретает новое измерение. Если прежде оно понималось как верность себе, как отказ от лжи, как внутренняя цельность, то теперь его необходимо дополнить идеей пластиичности — способности быть собой именно в изменении. Человек больше не может оставаться неизменным, если хочет остаться верным своей эзистенции. Подлинность здесь — не жёсткость, не стояние на месте, а умение проходить через перемены, не теряя глубинного вектора. Быть собой — это уже не сохранение формы, но узнавание себя в новых обстоятельствах, в других ролях, в иной чувствительности.

Пластиичность не противоположна идентичности, она раскрывает её внутреннюю динамику. Это не отказ от самости, а её дыхание. В условиях, когда мир меняется быстрее, чем успевают устояться образы, человек оказывается не перед выбором «кем быть навсегда», а перед необходимостью многократно возвращаться к себе — каждый раз иначе, каждый раз по-настоящему. Такой эзистенциализм говорит не от лица философа, определяющего истину, а от лица живущего, ищущего, слушающего. Его язык становится мягче, внимательнее к нюансам, менее приговором и больше прикосновением. Он позволяет не застывать в образе, не бояться смены ориентиров, не путать измену себе с ростом.

Именно в этом обновлённом, внутренне подвижном эзистенциализме может родиться новая чувствительность — способ быть в мире без маски завершённости, без претензии на окончательность. Язык перестаёт быть оружием и становится средством настройки. Слова, переставшие быть формулами,

становятся мостами. Философия, утратив уверенность, возвращает себе искренность. И человек, вновь оказавшийся в центре этой мысли, получает возможность быть собой не вопреки изменениям, а сквозь них, не закрываясь, а распахиваясь, не утверждая, а слушая, как внутри текучей, подвижной жизни проступает то, что всё ещё можно назвать своим.

Современное понимание Я всё более отдаляется от прежнего образа устойчивого, самодостаточного центра, вокруг которого выстраивается мир. Вместо этого возникает образ узла — точки пересечения, где сходятся нити многочисленных связей, ожиданий, голосов, историй и взглядов. Человеческое существование разворачивается не в изоляции, а в плотной, часто невидимой ткани отношений, где каждый жест отзыается эхом во множестве направлений. Экзистенциализм, если он стремится сохранить свою философскую жизнеспособность, должен отказаться от модели автономного субъекта и признать, что Я — это не начало, а пересечение, не источник, а напряжённое поле взаимодействий.

Быть собой в этой системе координат — значит уже не утверждать силу воли или героическую способность к самоопределению, а принять сложную подвижность своей природы, не отгораживаясь от мира, но и не растворяясь в нём. Подлинность, прежде ассоциируемая с выбором, совершааемым в одиночестве, теперь обретает новое звучание — как принятие несовершенства, недосказанности, незавершённости. Стать собой — это уже не подвиг, не преодоление, не победа над хаосом, а тиха внутренняя работа по согласованию того, кем

хотелось бы быть, с тем, кем невозможно не быть. Здесь нет торжества, нет финальной ясности, есть лишь процесс — напряжённый, не всегда заметный, но подлинный в каждом своём движении.

Именно в этом постоянном усилии, в необходимости непрерывно отвечать на запрос «кем быть?», рождается новое переживание, которое можно назвать экзистенциальной усталостью. Это не телесная слабость и не эмоциональное выгорание, а глубинное утомление от принуждения к идентичности. Современный человек всё чаще сталкивается не с пустотой, а с переизбытком форм, ролей, сценариев, и каждое из них требует внутреннего согласия, внутренней определённости. Усталость от необходимости быть кем-то — это реакция на давление непрерывной саморепрезентации, где свобода превращается в обязанность, а уникальность — в требование.

Экзистенциальная усталость — это не пассивность, а знак перенапряжения. Это молчаливый протест против мира, в котором человек обязан всё время становиться, доказывать, оформлять, производить себя. В этой усталости звучит желание быть просто так, вне определения, вне объяснения, вне необходимости соответствовать. И именно здесь, на этом пределе, философия получает новый смысл: не в формировании идентичности, а в освобождении от её диктата. Не в утверждении Я, а в способности молчаливо признать свою подвижную, ранимую, непрочную сущность.

Экзистенциализм, открытый этой уязвимости, уже не требует от человека окончательных решений, не призывает к метафизическому мужеству. Он предлагает быть, не обосновывая своё право. Оставаться, не отвечая

на все вопросы. Существовать как связка отношений, как промежуточная фигура между выбором и неизвестностью, между собой и другим. И в этом, возможно, проявляется новая зрелость: не победа над миром, а мягкое, но стойкое участие в нём, без иллюзий, без позы, без напряжённой попытки соответствовать чьему-либо представлению — даже своему собственному.

В эпоху, когда экзистенциальная мысль стремительно теряет связь с жёстким, линейным и героическим представлением о бытии, возникает необходимость обозначить новую форму присутствия — ту, что не требует напряжения, но не теряет подлинности, не вступает в борьбу, но не исчезает, не утверждает себя силой, но остаётся верной себе. Эту форму можно назвать «плюшевой экзистенцией» — мягкой, неагрессивной, но упорно сохраняющей своё внутреннее ядро. Она не стремится победить мир, не противопоставляет себя ему, но существует в нём с упрямым, почти детским доверием, не позволяя обстоятельствам разрушить хрупкую целостность того, кто есть.

Плюшевая экзистенция — это не отказ от глубины, не бегство от тревоги, не маска наивности. Это способ быть, где мягкость не является слабостью, а становится формой стойкости. Не навязывая, не доказывая, не обвиняя, она удерживает себя в условиях, которые могут быть грубыми, равнодушными, абсурдными. Такой способ существования не требует побед, он требует присутствия — тёплого, тактильного, неровного, но настоящего. В этом контексте смех становится тем, что

освобождает от необходимости вступать в конфликт с миром по его правилам. Там, где прежний экзистенциализм звал к бунту, смех предлагает иной путь: не отрицать, не подчиняться, а смеяться, превращая абсурд в игру, в интонацию, в легкое прикосновение к несовершенству.

Юмор, лишённый цинизма, становится формой экзистенциальной мудрости — не горькой, но мягкой, не ироничной, но ласковой. Он позволяет удерживать дистанцию без отчуждения, говорить о серьёзном без тяжести, жить среди парадоксов без страха. Такой смех не разрушает, не разоблачает, а спасает, не отвергает смысл, а обходит его, когда тот оказывается слишком жёстким, слишком прямолинейным, чтобы вместить живое. И в этом жесте, в способности смеяться не над, а рядом, возникает пространство, в котором человек остаётся собой без борьбы, без позы, без страдания как доказательства подлинности.

Эта философия мягкости обретает ещё одну важную опору — в детской перспективе. Сказочность, наивность, фантазия, нежность, столь часто исключаемые из серьёзных дискурсов, на деле оказываются скрытыми источниками подлинного присутствия. Ребёнок воспринимает мир как тайну, как пространство, где возможны чудеса, где каждое существо имеет право быть, даже если оно непонятно, уязвимо, необычно. Такая установка не исчезает с возрастом — она лишь вытесняется рациональностью, тревогой, необходимостью соответствовать. Однако в моменты, когда человек вновь находит в себе способность смотреть как в детстве — с удивлением, без защиты, с доверчивой открытостью — он приближается

к самому себе, минуя сложные конструкции.

Сказка, в которой живёт волшебство и нелогичность, становится метафорой экзистенции, не требующей обоснований. Там, где не нужно объяснять, зачем быть, можно просто быть. Нежность, обращённая не только к другим, но и к себе, становится внутренней опорой, которая не требует силы, но способна выстоять. И в этом проявляется новый поворот мысли — не от рационального к иррациональному, а от абстрактного к живому. От необходимости быть кем-то — к позволению быть. От напряжённого самоутверждения — к тихому, но настойчивому принятию своей непохожести, своей неидеальности, своей сказочной хрупкости.

И тогда экзистенция уже не требует мужества в прежнем смысле. Она требует заботы. Не доказывания, а ласкового внимания. Не систем, а жестов. И, быть может, в этих жестах — в тёплом взгляде, в уместной шутке, в детском вопросе без ответа — и раскрывается то, что прежде называлось подлинным.

Одиночество, столь часто возвеличиваемое экзистенциальной традицией как условие подлинности и свободы, требует более внимательного различения. Ведь не всякое уединение ведёт к глубине; напротив, изоляция, лишённая внутреннего смысла, не даёт пространства для самоосознания, а приносит рану — ту, что исходит не из выбора, а из разрыва. Экзистенциальное одиночество — это не отсутствие других, а присутствие себя в максимальной степени. Это не разобщённость, а углубление, в котором человек вступает в молчаливый диалог с самим бытием. Оно не отталкивает, а сосредотачивает, не разрушает, а

формирует. В отличие от травматической изоляции, где субъект теряет контуры, в подлинном одиночестве он начинает звучать.

Однако для того, чтобы одиночество стало не пустотой, а внутренней камерой, необходимо вновь обратить внимание на то, что традиционный эзистенциализм часто оставлял на периферии — на телесность, на чувственное измерение существования. Бытие переживается не только через выбор, не только в акте сознательного самоопределения, но и через телесное присутствие, через тактильность, запах, движение, прикосновение. Тело — это не просто носитель сознания, не объект мира, а равноправный участник эзистенции. Оно не противоположно свободе, а воплощает её; не преграда для духа, а его необходимое проявление.

Именно в теле происходит то, что нельзя выразить в словах, но что формирует осознание: дрожь, замедление, напряжение, усталость. Всё это — формы знания, которые не проходят через рациональную артикуляцию, но несут в себе не меньшую правду. Чувственность становится способом быть, не нуждаясь в объяснении. Она возвращает эзистенции плотность, которой часто не хватало абстрактной философии. Страдание, удовольствие, влечение, отторжение — всё это не побочные эффекты, а сами ткани опыта. Принять их — значит не только расширить понимание свободы, но и освободить её от иллюзии абсолютной автономии.

Наряду с телом, ещё одна сфера требует пересмотра — время. В классической логике оно мыслилось линейно: прошлое, настоящее, будущее, выстроенные в строгую последовательность. Но человек переживает время

иначе. Оно может растягиваться, замирать, обрушиваться, исчезать. Время — это не метрическая шкала, а ритм восприятия. В моменты подлинного присутствия возникает не хронология, а кайрос — внутренний поворот, миг, в котором скрыта целая жизнь. Длительность — не количественное измерение, а качество, когда даже краткое прикосновение оставляет след надолго, а годы пролетели, не оставив формы.

И бывает, что всё останавливается. Нет движения, нет внешнего прогресса, но есть переживание — густое, неподвижное, как остановившийся воздух. Эти остановки не пустые: в них часто зарождается подлинное понимание, когда исчезают схемы, и остаётся только то, что невозможно выразить иначе, как тишиной. Экзистенция, осмысленная сквозь телесность и чувственность, переживаемое время и различие между одиночеством и изоляцией, обретает новую полноту. Она становится не задачей для рассуждения, а пространством, в котором живут напряжение и нежность, знание и растерянность, боль и принятие.

Такое бытие нельзя привести к формуле — его можно только ощутить. Через тело, через ритм, через одиночество, в котором, наконец, становится слышно, как внутри тишины появляется собственное имя — не как концепт, а как присутствие.

Экзистенциальное отчаяние, столь часто воспринимаемое как тёмная и разрушительная сила, на самом деле скрывает в себе потенциал подлинного пробуждения. Его следует ясно отделять от психологической депрессии, которая связана с физиологическими и эмоциональными нарушениями,

отнимающими у человека энергию и способность воспринимать мир. Отчаяние же, в экзистенциальном смысле, — это не болезнь, а внутреннее обострение, в котором человек впервые сталкивается с бездной свободы. Это состояние, в котором исчезают все внешние опоры, рушатся привычные формы самооправдания, и остаётся только чистая, ничем не обусловленная возможность быть. Оно болезненно, но в этом боли есть глубина — как в раннем утреннем свете, который сначала режет глаза, но потом позволяет увидеть мир заново.

Абсурд, к которому ведёт это отчаяние, уже не враждебен. Он не мешает жить, а, напротив, освобождает от необходимости подчиняться чужим ожиданиям и застывшим смыслам. В нём нет ответа, но есть пространство, в котором возможно дышать. Взаимодействие с абсурдом — не борьба, а своеобразный танец: он бросает вызов, а человек отвечает движением. Это партнёр, требующий внутренней пластичности. Не нужно разрушать абсурд, нужно научиться быть с ним рядом — не отрицая его, но и не позволяя ему замкнуть горизонты. Именно в этом взаимодействии рождается новая форма свободы: свободы без гарантии, без возвышенного финала, но с полной ответственностью за то, как наполнить пустоту.

На фоне этого нового восприятия мира особенно остро встаёт вопрос о том, что именно человек может дать другому, если всё является следствием личного выбора, а каждый несёт свою экзистенцию в одиночку. Ответ рождается не в концепциях, а в жестах — в готовности быть с другим не из долга, не ради утешения, а из внутренней щедрости. Экзистенциальная щедрость —

это не альтруизм в привычном смысле, а тихая, но упорная способность делиться: временем, вниманием, присутствием. Она не требует признания, не нуждается в благодарности — она просто есть, как тепло, которое отдают руки, касающиеся плеча в молчании. В условиях, где каждый борется за идентичность, она становится формой сопротивления — не грубой, но глубинной.

Щедрость, обращённая к существованию другого, становится продолжением внутреннего принятия абсурда: если мир не даёт смысла, его можно создавать не словами, а участием. Нежность, в этой логике, перестаёт быть эмоциональной слабостью. Она превращается в форму метафизического утверждения: да, мир равнодушен, иногда жесток, иногда нем, но человек — нет. Он может быть добрым не потому, что всё хорошо, а потому что иначе нельзя. Он может быть ласковым в ответ на боль, не чтобы её отменить, а чтобы она не осталась без отклика.

Такое утверждение бытия через нежность — не сентиментальность, а глубинное философское действие. Это способ сказать: даже если ничего не имеет устойчивого значения, я могу быть источником тепла. Даже если всё исчезает, я могу остаться, не требуя ничего взамен. И тогда экзистенция становится не только пространством свободы, но и возможностью передать тепло через расстояние, через страх, через одиночество. Не чтобы спасти, а чтобы быть. Это и есть новое измерение подлинности — не в силе быть собой, а в способности остаться открытым в мире, где всё, казалось бы, зовёт к защите, к закрытости, к окаменению.

Среди возможных выражений, выдвигаемых в ответ на анализ феномена отложенного существования, первое заключается в том, что такое состояние не следует воспринимать исключительно как форму отчуждения или экзистенциальной деформации. Существует точка зрения, согласно которой отсрочка может рассматриваться как адаптивная стратегия, как акт осторожности, направленный на выживание в условиях тревожной нестабильности современного мира. В таком прочтении индивидуальное промедление не является проявлением дурной веры, а становится свидетельством устойчивости и способности к самосохранению в ситуации, где быстрые решения оборачиваются риском, а обдуманное планирование — способом сохранить внутреннюю целостность.

Несмотря на то что в некоторых обстоятельствах откладывание действительно может играть регулирующую роль, суть обсуждаемого подхода касается не отдельного акта промедления, а устойчивой формы существования, в которой отложенность приобретает черты нормы. Когда эта установка становится основой отношения субъекта к себе, к миру и к действию, она перестаёт быть инструментом выживания и превращается в структурную особенность личности. Хроническое откладывание теряет связь с контекстом и начинает диктовать повседневность. Здесь, скорее, следует говорить о неспособности укорениться в живом, проживаемом времени, нежели о разумной осторожности. В сартровском духе, даже внешне рациональное промедление может скрывать бегство от необходимости действовать свободно.

Второй контраргумент опирается на критику самого

онтологического фундамента экзистенциализма. Отмечается, что представление о свободном и целостном субъекте, которое лежит в основе сартровской мысли, устарело, поскольку не учитывает те деконструкции, что были предложены постмодернистской, феминистской и деколониальной философией. Эти направления ставят под сомнение универсальность идеи автономного субъекта, указывая на то, что свобода и проект зачастую навязаны определёнными социальными и историческими контекстами.

Такой упрёк заслуживает внимания, и его значение не игнорируется. Однако речь идёт не о возвращении к наивному экзистенциализму, а о переосмыслении его понятий с учётом новых реалий. В самой сартровской концепции свободы заложена возможность её контекстуализации: она не является абстрактной сущностью, лишённой связей с миром, а проявляется через преодоление, исходящее из конкретной ситуации. Если принять во внимание, что современное положение субъекта гораздо более раздроблено, противоречиво и подвержено внешним влияниям, то становится очевидно, что экзистенциализм вовсе не теряет актуальности, а приобретает новые аспекты. Его задача — не утверждать незыблемость свободы, а исследовать механизмы, в которых она сегодня проявляется как фрагментированная и парадоксальная.

Третье возражение связано с позитивной трактовкой идеала будущего как движущей силы. Представляется, что образ желаемого «я» способен стимулировать развитие, мотивировать к усилиям, к обучению и к преобразованию. В этом свете утопия личного становления превращается не в форму отчуждения, а в

ресурс преодоления.

Разумеется, способность проецировать себя в будущее может быть важным источником энергии. Но проблема возникает тогда, когда эта проекция теряет связь с действием. Если будущее превращается в постоянное укрытие от настоящего, то субъект уже не становится — он мечтает о становлении. Подлинный прогресс, в сартровском понимании, требует перехода от замысла к поступку. Когда идея будущего подменяет действительность, когда планы не находят реализации, свобода становится декоративной. Мечта, лишённая практической реализации, перестаёт быть освобождающей и начинает действовать как форма бегства, замещая необходимость реального выбора.

Четвёртая линия критики утверждает, что приостановка проекта может быть осознанным выбором. В условиях переизбытка возможностей и информации, субъект сознательно предпочитает отложить действия, чтобы избежать поспешных и необратимых решений. Это состояние якобы является не симптомом отчуждения, а стратегией сохранения открытой свободы. Индивид, таким образом, не подчиняется внешним структурам, а сам выбирает неопределенность.

Однако здесь возникает тонкое различие между выбором и укоренившейся установкой. То, что может начаться как осознанная пауза, со временем превращается в неосознаваемую норму, в которую встраивается личная идентичность. Сартровская дурная вера как раз и заключается не в неведении, а в двойственном знании, где человек одновременно знает и не хочет знать. Он участвует в собственном обмане, не отрицая свободы, но отказываясь ею воспользоваться. Отложенность в таком

случае становится формой самоограничения, где свобода существует только в теории, а на практике замещается бесконечным откладыванием решений. Внешне свобода сохраняется, но внутренняя решимость исчезает, размывая границы между выбором и пассивностью.

Наконец, пятая критика исходит из социального измерения свободы. С позиции марксистской или социологической оптики сартровская модель излишне индивидуалистична, она переоценивает силу личного решения и игнорирует структурные ограничения. В условиях системного неравенства, эксплуатации и нестабильности «свобода» становится привилегией, недоступной для большинства. Соответственно, отложенное существование следует понимать не как личную установку, а как результат внешнего давления.

Такой взгляд учитывается в рассматриваемом подходе. Действительно, социальные условия играют решающую роль в формировании горизонта возможностей. Но Сартр, вопреки расхожему мнению, не был глух к социальным реалиям: его философия во второй половине XX века всё чаще обращалась к вопросам исторического детерминизма, классового положения и институционального насилия. Сочетание экзистенциального и социального анализа позволяет увидеть, что отказ от реализации свободы — не только психологический механизм, но и результат нормализации структур, поощряющих самозадержку. В этом смысле дурная вера становится коллективно закреплённой формой, отражающей внутреннее согласие с тем, что свобода возможна, но её реализация — всегда «ещё не сейчас».

Будущее эзистенциализма всё отчётливее ускользает от привычных очертаний — строгих схем ответственности, философской доблести перед лицом абсурда, пафоса выбора и одиночества. Всё то, что когда-то придавало эзистенциальной мысли мощь, теперь звучит тяжеловесно в пространстве, насыщенном хрупкостью, множественностью и игрой. Не отрицая глубины, но перераспределяя её, современное сознание ищет не столько категорий, сколько образов — таких, что позволяют быть не под давлением, а в лёгком соприсутствии с собой, с другими, с миром. Это движение от систем к повествованиям, от логики к интонации, от концептов к формам жизни.

Образ жизни, в этой новой философской перспективе, становится не социальным выбором или моральным утверждением, а способом удерживать внутреннюю правду в среде, где ничто не обещает устойчивости. Здесь нет необходимости доказывать свою осознанность, нет нужды вступать в бунт — достаточно оставаться верным своей сказке, своей иронии, своей подлинности. Сказочность — не бегство от реальности, а иной способ её схватывания, где мир наполняется символами, где непостижимое не устраниет смысла, а усиливает его. Быть собой в сказке — это значит принять метафору как форму правды, где чудеса, абсурд и нежность сплетаются в нечто большее, чем реализм.

Ироничность же служит не защитой от боли, но способом не застыть в страдании. Она позволяет дышать сквозь тревогу, смотреть на бытие с лёгкой насмешкой, в которой нет злобы, но есть внутренняя свобода. Смех, преломляющий трагедию, не отменяет глубину, а делает

её доступной. Жизнь, увиденная под углом иронии, перестаёт быть подвигом или задачей — она становится материалом для интонации, для поворота, для взгляда. Это не поверхность, а форма обострённого восприятия, в котором ничто не теряет своей значимости, но и ничто не требует преклонения.

Подлинность, в таком горизонте, не отсылает к героическим усилиям быть «настоящим» — она живёт в отказе играть чужую роль, в мягкой настойчивости оставаться собой, даже если это незаметно, неубедительно, неэффектно. Настоящее возникает не в том, что соответствует идеалу, а в том, что не предаёт интонацию. И в этих образах жизни — сказочных, ироничных, неукреплённых, но упорных — и может разворачиваться экзистенциализм будущего: не как система взглядов, а как живая ткань бытия, как стиль присутствия, в котором можно быть человеком, не забывая, что человечность — это не только выбор и ответственность, но и способность мечтать, играть, смеяться, быть нежным, не теряя глубины.

Приглашаю вас ознакомиться с моей статьей *Analyse de la philosophie de Sartre à travers l'idée que l'homme moderne vit de plus en plus dans une « existence différée »: Une vie projetée mais jamais réalisée* (Анализ философии Сартра через идею о том, что современный человек всё больше живёт в «отложенном существовании»: жизнь, спроектированная, но так и не реализованная), опубликованной в *La Revue du Bon Sens*.

Рад буду вашему вниманию к моей статье, в которой обсуждается, как философия Жана-Поля Сартра раскрывает парадокс современного существования —

жизни, отложенной на потом, спланированной, но не проживаемой. Надеюсь, размышления, представленные в этой работе, окажутся вам интересны и позволят взглянуть по-новому на экзистенциальные вызовы нашего времени.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Kriger, B. (2025). *Analyse de la philosophie de Sartre à travers l'idée que l'homme moderne vit de plus en plus dans une « existence différée »: Une vie projetée mais jamais réalisée*. La Revue du Bon Sens.
- Bauman, Z. (2000). *Liquid Modernity*. Polity Press.
- Hochschild, A. R. (2012). *The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling* (3^e éd.). University of California Press.
- Rosa, H. (2010). *Alienation and Acceleration: Toward a Critical Theory of Late-Modern Temporality*. Polity Press.
- Sartre, J.-P. (1943). *L'Être et le Néant : Essai d'ontologie phénoménologique*. Gallimard.
- Sartre, J.-P. (1946). *L'Existentialisme est un humanisme*. Les Éditions Nagel.
- Sartre, J.-P. (1960). *Critique de la raison dialectique*. Gallimard.
- Beauvoir, S. de. (1949). *Le Deuxième Sexe*. Gallimard.
- Fanon, A. (1961). *Les Damnés de la Terre*. Maspero.
- Mbembe, A. (2016). *Critique de la raison nègre*. La Découverte.
- Butler, J. (2004). *Undoing Gender*. Routledge.
- Taylor, C. (2007). *A Secular Age*. Harvard University Press.
- Heidegger, M. (1927). *Être et temps*. Gallimard.
- Hart, H. L. A. (1958). *The Concept of Law*. Clarendon Press.

Zerubavel, E. (1985). *Hidden Rhythms: Schedules and Calendars in Social Life*. University of California Press.